

Вера ЗУБАРЕВА СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ БОРИСА КУКЛОВА

— Ты меня любишь?
— Да, да, я люблю тебя, Боренька.
— А я тебя обожаю.

Я слышу этот диалог спустя многие месяцы после кончины Бориса, и я буду слышать его всегда, сколько буду сама жить и любить. Его голос — утасаживающий, его голос — упасающий, и оба — бесконечно любящие. Энергия любви и отчаяния пронизывает молнией, насквозь прожигая телефонную трубку. Скоро им предстоит Разлука, и надежды нет, и оба они знают об этом. Последние недели, дни, часы вместе... "Мы с тобой два берега у одной реки", — вдруг вспыхивает в памяти... Река жизни разливаается, ширится, я слышу ее беспощадное бурление в трубке, оно заглушает его голос, который звучит все дальше и дальше, чтобы скоро — совсем скоро! — унести с последним водоворотом.

Он — врач, он знает, что последует за чем, что нужно перенести, и как все будет замирать. Главной его задачей в эти последние дни было

не тревожить никого. Это было правилом его жизни — отдавать себя безраздельно, и при этом ничего не просить взамен, никого не беспокоить, никому не доставлять неудобства. Мы между собой называли его ангелом за необыкновенную жертвенность, доброту и терпение. Но только испытание последними муками открыло, насколько он был неподдельным в своей святости. Ни жалоб, ни стон, лишь короткий вопрос: "Ты любишь меня?". Наверное, боль отступает перед этим. Наверное, и смерть отступает перед этим. Когда от тела не остается почти ничего, понимаешь грандиозность души.

Меня всегда поражало, как он смотрел на Лену, когда она выходила на сцену. Мир переставал существовать для него, — он был полностью погружен и растворен в действо, которое превращалось для него в священнодействие. Она была для него жрицей перевоплощения или, правильнее сказать, — воплощения. Как медиум, она вызывала к жизни лица и голоса, которые

словно ждали ее, чтобы материализоваться из мистики слова, зачаровывая и гипнотизируя притихший зал. Он был ее вечно зачарованным зрителем, для которого очарование длилось за пределами сценического действия. Он нес в себе ее мир все годы их необыкновенно одухотворенной и вдохновенной супружеской жизни, в которой не было места материальному и прозаическому. Их отношения — это было самое драгоценное, что он имел, его философский камень, эликсир его жизни.

Он воспринимал мир как чудо, и самым большим чудом для него было искусство. Он был открыт всему новому, необычному в науке именно потому, что душа его отзывалась на то, что было создано фантазией и воображением. Его собственные новшества в медицине были результатом полета творческой фантазии, идущей заступу вопреки существующим догмам. То, что он делал в медицине, было на грани науки и искусства по уникальности и искусности. Да и встреча его с Ле-

ной была отнюдь не случайной. Она явилась результатом его тяги ко всему яркому, смелому, творческому, летящему. Ее широко распахнутые глаза навсегда сделали ее его крылатой богиней.

Вот и ты ушел, вот и я осталась,
Чтобы снова глядеть в обрыв,
Шевелить тугую туманность
И пугать первородных рыб.
Все — из прошлого,
да и я — на грани.
Притаившись, слушаю, как
То ли тикает вода в кране,
То ли капает время в часах...

Ушел автор романа, осталась его героиня. Для меня он был именно автором, а не героем, потому что в любви кто-то всегда автор, а кто-то его герой. Она была его героиней, а стала медиумом его души. Они смотрят на мир вместе и дышат одним дыханием, и сердце у них одно на двоих, и он по-прежнему сидит в зрительном зале, и глаза его сияют, когда она восходит на подмостки, окруженная аурой его неизбывного тепла. А ночью он дарит ей сны и звезды и нашептывает стихи, которые она прочтет ему в тишине комнаты, а потом со сцены. Их диалог прекращаем, как неиссякаема их любовь.

"Посмотри, Боренька, уже осень", — говорит она, глядя, как волны плещутся о веранду их дачи. Он был капитаном этого корабля... "Капитан покидает корабль послед-

ним, помнишь?" — она шепчет. Он кивает, его силуэт покачивается на ряби темнеющей воды. "Конечно же, Ленуся. Я тебя обожаю".

Он сказал: "Обернись!"
Поле жизни — как поле стрельбищ.
Впереди лишь надгробья от тех,
кто сумел его перейти.
Он сказал: "Обернись!"
А иначе — окаменеешь.
Если в будущность хочешь, —
обернись!" И во всем бытии
Только он говорил,
только ты лишь стоял и слушал.
Настороженно время взвело курок.
И зрачок у пространства
был болезненно сужен.
Путь един за пределами трех дорог.
Посему — нет распутия у смерти,
а есть бездорожье.
Посему — есть распутия у жизни
и выбор дорог.
Он сказал: "Обернись!"
"Обернись!" — он сказал,
и продолжил...
Но об этом писалось
уже не раз между строк.
И тогда ты поверил,
хотя не читал междустрочий,
И я видела, как
Вдруг обмякли мышцы спины,
И я знала, что это —
наступление ночи,
Что отобрано поле навек,
Но подарены — сны.

Филадельфия.

Юрий ФУРМАНОВ СЕСТРЫ

Я никогда не видел столь опрятной и ухоженной старой дамы. Тщательно и умело уложенный на затылке пучок седых волос, безукоризненно сидевший на маленькой фигурке костюм...

Она стояла напротив моего купе и смотрела в окно, за которым простирались западноукраинские пейзажи. Когда проезжали мимо Подволочиска, женщина, искоса взглянув на меня, вдруг заговорила: "Это мои родные места. Видите вдалеке речку? Вот за ней стоял наш дом". Я вежливо ответил, что вижу, и пошел в тамбур покурить.

Женщина продолжала стоять у окна, а когда я подошел, спросила: "Вы сбежали от старческих воспоминаний? — и, не давая возможности ответить, сказала: — Всегда, когда еду в командировку во Львов и проезжаю, можно сказать, мимо родного дома, переживаю, что не могу сойти с поезда и встретиться с родной сестрой, которую более полувека не видела".

Для меня это было очень странно. Что мешает им увидеться? Несколько лет тому назад, когда мы с другом ехали из Бреста на юг через Житомир, мне удалось его уговорить заехать к отцу, которого он не видел двадцать лет, с тех пор, как призвали в армию. Как же он сопротивлялся! "Видеть его не хочу, да и к тому же мы стали совершенно чужие. Разве можно простить, когда родной отец, зная, что сын будет служить в Афганистане, не приходит его проводить? Это каким нужно быть жестоким и безразличным!"

И все-таки я уговорил его повернуть к дому отца. И что выяснилось? Старик сам страдал все эти годы. Буквально накануне поездки к сыну умер его родной брат, и он его хоронил. Послал телеграмму, но, очевидно, мать, не простившая его уход к другой женщине, скрыла ее. Накрыли стол, отец с сыном обнялись и так меня благодарили, что приятнее чувства от такой картины я, пожалуй, не испытывал.

Я рассказал эту историю пожилой женщине, убеждая, что какие бы обиды ни были между родными, главное — посмотреть друг на друга, и прощение придет. Люди порой

без всякой надежды ищут друг друга годами, а вы из-за какой-то обиды не можете выйти из поезда и обнять сестру. Извините, но это не по-христиански.

После такой эмоциональной tirade мне захотелось зайти в свое купе и закрыть двери. Но тут я увидел слезы на глазах старой женщины. "Нет, нет, не надо меня жалеть. Не допускаю к себе жалости со времен войны, — она помолчала и затем кратко сказала: — Есть вещи, которые и добрый христианин простить не может. Хочу, хотела все эти годы, но страшная картина расстрела фашистами прилюдно на площади еврейской семьи — бабушки, супругов и их троих детей — все время стоит перед глазами". Пожилая дама почувствовала себя неважно, и не говоря ни слова, удалилась в соседнее купе.

Я ничего не понимал: какая связь между этим расстрелом и отношениями двух сестер? Даже подумал: сама ты фашистка! Какой бессердечной и жестокой надо быть, чтобы на старости лет, возможно, перед смертью ни разу не взглянуть и не поговорить с родной сестрой!

Наступило утро. Я избегал встречи со старой дамой, у которой, очевидно, было больше заботы о своей внешности, чем о собственном сердце. Но и она почти целый день не выходила из купе. Не случилось ли что? Правда, в районе украинско-российской границы я слышал, как она по-украински разговаривала с таможенниками. Когда они ушли, она опять стала у окна и уже по-русски, обращаясь ко мне, сказала: "Я не знаю вас и вашего имени, но не хочу оставить в вашей душе неприятный след". И начала свой рассказ.

"До войны у нас была большая дружная семья. Когда осенью 1939 года к нам пришла советская власть, отец и старший брат пошли работать в железнодорожные мастерские, а мы с сестрой (она на год старше) заканчивали школу. К новым порядкам относились настороженно, хотя и понимали, что лучше Советы, чем польки.

На нашей улице неподалеку жил ангел-хранитель нашей семьи, замечательный доктор Самуил Аронович Глинский, усилиями которого мы, дети, победоносно справля-

лись с болезнями. Моя сестра обязана ему даже жизнью, когда он несколько ночей боролся с острой формой желтухи. Во время фашистской оккупации Самуил Аронович вместе с семьей прятался в железнодорожных мастерских. Мой брат в то время служил в немецкой полиции и не раз предупреждал еврейскую семью о возможных облавах. Так продолжалось до Нового года, пока моя сестра не познакомилась с немецким офицером. После этого ее как будто подменили. Дома не ночевала, а когда приходила, вела себя так, будто не отец главный в доме, а она. В одной из ссор прямо заявила: "Вы не дуже тут выступайте, бо прячете жидив". И чтобы не подставлять нас, а главное себя, с помощью офицера вывела из подвала еврейскую семью и сдала ее в комендатуру. На следующий день всех их расстреляли. Ужасная картина расстрела до сих пор у меня перед глазами.

Алена, так звали мою сестру, несколько месяцев не появлялась дома. Где жила, чем занималась, мы не знали. После изгнания немцев, когда ее на пять лет засудили и отправили в лагерь, выяснилось, что она работала в фашистской комендатуре. Ее немец и наш брат погибли в той войне, а я поехала в Ленинград и поступила в университет, на биологический. После отбытия наказания она каким-то образом узнала мой телефон, просила о встрече, но я не пошла. Скажете, побоялась властей? Нет, она для меня тоже погибла. Она своим поступком увела в преждевременную могилу не только еврейскую семью, но и наших родителей".

Когда пожилая женщина замолчала, я спросил: "Как же так? Ну ладно, не хотите видеться с сестрой, — но в вашем городе, наверное, похоронены отец и мать. Вы что, простите, их тоже не навещаете?"

"Почему же, навещаю, но так, чтобы сестра не знала. Я их никогда не забывала, и более того, сделала все, чтобы об их помощи евреям во время войны узнал весь мир".

Нелегко дался этот рассказ пожилой женщине. Она ушла к себе, и больше мы не виделись. Но я долго еще стоял у окна и думал: главное — жить по совести и не совершать подлостей.

Дора КЛИНОВА Городу Любви

Я случайно обнаружила эту маленькую скульптурку в Городском саду, что на Дерибасовской в Одессе. Сначала даже не поняла, что это такое. На тонком стебле нечто бесформенное, усыпанное чем-то блестящим. Да нет, не бесформенное — ведь это же сердце, а на нем множество маленьких латунных сердечек, которые сверкают на солнце. Внизу на постаменте табличка с надписью:



Я ахнула. В Одессе не знают, что такое 14 февраля.

Американский день любви, Valentine's Day, о котором большинство одесситов понятия не имеют. По-видимому, бывший одессит — эмигрант, приехавший из Америки, воздвиг этот маленький диво-памятник в Горсаду, в самом центре Одессы. А может, это сделала группа американских одесситов, — уж не знаю точно.

Как надо любить Одессу, чтобы придумать такую чудо-композицию! Большое сердце, усыпанное множеством сердец всех уехавших из Одессы. Теперь эти сердца зажигаются на солнце и шлют свою любовь и тепло нашему родному городу со всех концов мира. Я, американка, любовалась этой скульптуркой.

Да, я уже давно американка. По паспорту. А в душе? До конца жизни я буду чувствовать эту раздвоенность. Иностранка в Америке, иностранка в Одессе. Из глаз невольно текли слезы. Здесь вдруг заработали мои слезные железы. Я ведь о них забыла. Я научилась плакать в эмиграции. Сначала было не до плача, рыдать попусту не было времени. Слишком много нового надо было осваивать. А сейчас вроде и плакать ни к чему.

Я долго стояла рядом с этой скульптуркой. Прощалась с Одессой. Я провела здесь 10 дней, сложных, непонятных мне дней.



Облюбовала самое яркое сердечко, которое сияло бриллиантом под ласковым одесским солнцем, и шептала себе:

Это мое сердечко. В нем все: и мое восхищение, и моя боль. Мне грустно, моя Одесса. Мое сердце будет с тобой. Нет, неправильно. Я заберу с собой свое сердце. Оно мне еще пригодится. Я теперь живу в Америке. Я лучше отсюда тебе буду посылать свой свет, моя родная Одесса. Океан света и море добра. Тебе оно так необходимо сейчас!

Завтра я улетала домой, в Калифорнию.